

Елена
Катишонок

ЖИЛИ-БЫЛИ

старик со старухой



роман

Самое время!

Елена Катишонок

Жили-были старик со старухой

«ВЕБКНИГА»

2011

Катишонок Е. А.

Жили-были старик со старухой / Е. А. Катишонок —
«ВЕБКНИГА», 2011 — (Самое время!)

ISBN 978-5-96-910960-5

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, – повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «...Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, «вкусный» говор, забавные и точные «семейные словечки», трогательная любовь и великое русское терпение – все это сразу берет за душу. В книге есть неповторимый дух времени, живые души героев и живая душа автора, который словно бы наблюдает за всеми перипетиями героев романа с юмором, любовью и болью. Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти – всё то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель...» (Дина Рубина).

ISBN 978-5-96-910960-5

© Катишонок Е. А., 2011

© ВЕБКНИГА, 2011

Содержание

1	6
2	11
3	18
4	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Елена Катишонок

Жили-были старик со старухой

© Елена Катишонок, 2011

© Время, 2011

* * *

Саше и Марусе

Автор считает своим долгом предупредить, что все без исключения герои — плод писательского воображения, поэтому возможные совпадения имен с реальными случайны и непреднамеренны

Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода?

Томас Манн

1

Жили-были старик со старухой у самого синего моря...

Синее море было скорее серым и находилось в часе езды: сначала на трамвае, потом на электричке, но они давно там не бывали.

Жили они вместе уже пятьдесят лет и три года.

Старик действительно любил ловить рыбу, но обходился без невода: просто шел поутру с удочкой на небольшую речку, которая текла за спичечной фабрикой, прямо за парком. Накануне привычно проверял бесхитростную снасть, засовывал тайком от старухи чекушку во внутренний карман пиджака, некогда серого, а теперь сизого от старости, и церемонно просил у правнучки-четырёхлетки жестяное игрушечное ведерко. Рыбу он, понятно, в ведерко не клал, но девочка с таким благоговением наблюдала всякий раз за его сборами, поставив ведерко на видное место, что на рассвете он прихватывал с собой смешную жестянку. Был он среднего роста, коренастый, с очень прямой спиной, хоть и ходил, прихрамывая на одну ногу. Крепкий, солидный нос покоился на казацких усах, густых и блестящих; картуз нависал надо лбом точно так же, как густые брови – над черными, блестящими и глубоко посаженными глазами.

Пряжу старуха не пряла, зато вышивала в молодости немало и с большим искусством. Ей удивительно подходило ее имя Матрона, которое в жизни звучало более заземленно: Матрена; сама она тоже соответствовала имени: статная, прямая, с округлым, но суровым лицом, на котором выделялись черные брови редкой выразительности; голос имела высокий и сильный. Впрочем, она могла бы зваться и Домной, настолько была домовитой и властной. Одевалась всегда в темные платья с вышивкой на груди, свободный покрой которых целомудренно скрывал мягкими складками оплывшие формы. Неизменный платок на голове, как и платье, чистоты был безукоризненной, отчего старуха всегда выглядела нарядно.

Было и корыто: его роль выполняла добротная оцинкованная ванна, в которой раз в неделю старуха замачивала, а потом стирала белье, глубоко погружая в мыльную пену полные руки и безжалостно теребя тряпье по стиральной доске, рельефные волны которой имитировали все то же синее море. Через пару дней рядом с диваном, на котором спал старик, она клала аккуратно выглаженную, еще теплую косоворотку и белейшую пару нижнего.

Как они жили? Кем они были? Не всегда же звались они стариком и старухой: были ведь когда-то детьми, женихом и невестой, супругами, а затем и родителями – шутка сказать! – семерых детей, из которых двое померли во младенчестве.

Оба родились на Дону, в Ростове, и выросли в староверских многодетных семьях с очень сходным жизненным укладом и достатка весьма скромного. Староверов в Ростове было немного, и они жались небольшой упрямой общинкой, теснимые уверенным троеперстным православием. Рабы Божий Матрона и Григорий (так звали будущего старика) обвенчались в маленькой моленной, заключив свой союз как раз накануне смены девятнадцатого и двадцатого веков. После этого, недолго думая, первыми перебрались в Остзейский край, к гостеприимному синему-серому морю, где трезвых и работающих их единоверцев встречали приветливо. Довольно скоро научились понимать на слух местный язык, а поселились в так называемом Московском форштадте, где уже больше двух веков прочно жили русские староверы, отторгнутые родной землей за экономию букв в имени Господа.

Здесь и начали жить они в своей первой ветхой землянке – маленьком, но уютном домике, который сняли на Калужской улице. Старику в то время было двадцать четыре года. Он знал столярное дело и любил его, поэтому сразу открыл мастерскую. Рекламе не доверял и считал баловством, да и не нуждался в ней после того, как сделал шкаф по заказу своего домовладельца. В трактире, куда иногда заходил, свел знакомство с пожилым земляком-ростов-

чанином, давно уже здесь обитавшим и имеющим связи, так что в мастерской недолго работал в одиночку: нашел двух столяров-подручных.

В Ростов между тем отправили весточку о своем житье-бытье, чтоб родным было о чем подумать. Там весточка была разумно истолкована как приглашение, и пока шли озабоченные сборы, старика, который стариком еще, конечно, не был, стали уважительно именовать «Григоримаксимычем». Заказы прибывали, а с ними прибывали и приятные хлопоты: закупка материала, новые деловые знакомства, не говоря уж об устройстве дома. Старуха, тогда восемнадцатилетняя, уже была беременна первенцем.

В первом году нового века, веселым Пасхальным апрелем, в большом светлом храме был «крещень младенец женского пола» именем Ирина. Знай родители значение имени, немало подивились бы собственной прозорливости, так точно нарекшей начало их мирной жизни. Крестным отцом новорожденной сделался старухин брат Феодор Иванович, прибывший недавно, но уже крепко стоящий на ногах; крестной матерью – Камита Александровна Великанова, достойная супруга известного благотворителя староверской общины.

Это был первый день после Радоницы. Счастливый молодой отец запер мастерскую и вместе с рабочими отправился кутить: сначала в трактир, а после, как следует отпраздновав и разогревшись, на извозчике – к центру города, в бордель, где и «угостил» обоих мастеров упитанными, надушенными пачулями барышнями в честь вышеупомянутого младенца женского пола.

Как об этом узнала мать младенца, установить так же трудно, как невозможно описать гнев, ею овладевший, когда она увидела в окно медленно подъезжавшего извозчика. Из пролетки, пошатываясь, вылез веселый муж и тут же полез в карман, чтобы рассчитаться с извозчиком и с городовым, который почтительно нес за пролеткой картуз счастливого и грешного отца. Дома он услышал от больной после родов жены немало таких слов, которые ему были знакомы, но словарным запасом молодухи из старообрядческой семьи никак не предусматривались. Ликующий, виновато-похмельный и изумленный, он все еще шарил по карманам, словно пытаясь что-то найти. И нашел: извлек на свет миниатюрную бархатную коробочку, открыл, подцепив ногтем крышку, и, поймав слабую, влажную руку жены, ловко надел на первый попавшийся палец золотое кольцо с изумрудом. После решительно грохнулся на колени, уткнувши горячее лицо в пикейное покрывало, чтобы высказать что-то благодарственно-извинительное и заодно избавить ее от перегарного духа, а потому не видел, как обида на лице жены сменилась восхищением и колечко быстро обрело свое место. Голос оставался еще сердитым, и Гришка был отослан «проспаться и вымыться», однако же к младенцу был допущен, и лицо его от созерцания дочери сияло таким восторгом, что куда там изумруд. Проспавшись от кутежа, но не от восхищения, водрузил рядом с прежними новую икону *Нечаянных Радости*, написанную по его заказу в честь младенца. И впрямь – не чаял...

Так они жили уже втроем; а вскоре и ростовская женина родня начала прибывать, быстро приновляясь к другой полосе и пополняя ряды староверской общины. Молодой столяр сделал несколько прочных скамей для моленной да пару надежных, устойчивых лесенок, чтобы удобно было затеплять лампы и свечи высоко укрепленным образом, с которых печально смотрели мудрые очи.

Работал он много и истово. Его мебель шла нарасхват, потому что сделана была любовно и остроумно, без единого гвоздя или шурупа, и украшена была вдохновенной резьбой.

К непроходящему изумлению отца дочка радостно играла на полу мастерской со стружками. Он даже не успел пожалеть, что первенец «женского пола»: будь он «мужского», можно было бы передать ремесло. Впрочем, через пять лет родился крепкий чернобровый мальчик, которого окрестили солидным именем Автоном. Коренастый, здоровый, он рос кротким и послушным, вопреки торжественному своему имени, что не удивительно, поскольку привык отзываться на теплое, почти женское имя Мотя.

Андрей появился на свет год спустя, сильно измучив мать. Он оказался таким же крепким и здоровым, как брат, но рос серьезным, задумчивым и молчаливым; это в нем осталось на всю жизнь.

Четвертые роды прошли легче, но «ясное дитя», мальчик Илларион прожил меньше года и был унесен глоточной болезнью, успев за свою коротенькую несмысленную жизнь привязать к себе обоих родителей крепкими узами любви и боли.

Следующего ребенка, еще два года спустя, мать ждала со страхом и нетерпением, надеясь унять тоску по ушедшему ясному сыночку и боясь, как бы не случилось беды с этим. Даже имя было уже задумано: Антон. Повитуха, однако, повернула громко орущего, извивающегося младенца причинным местом, отчего стало ясно: Антонина.

К тому времени землянка на Калужской и вправду стала казаться ветхой, так что они по очереди сменили две квартиры на Малогорной улице. На пересекающей ее Больше-горной как раз продавали дом: две четких четверки на эмалевой табличке заодно выставили острые локти: что, мол, Гриша, кишка тонка – собственный дом?! Впрочем, продавали недорого. Взвесив все «за», обнаружили так мало «против», что быстро и купили, чтобы не передумать. Неподалеку располагалось кладбище, где нашла себе вечный покой старухина мать. Так появилось семейное кладбище Спиридоновых. Судьба – или История – не очень мудрила и нарекала этих бесхитростных рабов Божиих столь же незатейливыми именами: старуха была урожденной Спиридоновой, от каковой фамилии без колебаний отказалась, чтобы стать Ивановой. Сами же старик со старухой были молоды и здоровы, и близость погоста никого из них не пугала.

Старшей девочке уже исполнилось одиннадцать, и она была главной и единственной помощницей матери по дому и, разумеется, нянькой для детей. Округлостью и чертами лица Ирочка очень походила на мать, только никакой суровости и властности в этом нежном лице не читалось: оно было спокойным, мягким и улыбчивым. Догадывалась ли девочка, что у отца она была любимицей, или нет, неизвестно, но не было случая, чтобы они не понимали друг друга, – и тогда, и сорок лет спустя. Она уже ходила в школу и своей страстью к учебе изумляла родителей. Сами они ничему, кроме молитв, никогда не были обучены; книг в доме не водилось. Мать, которую к тому времени все в семье, включая мужа, звали *мамынькой*, умела быть полновластной владычицей в доме, а отец знал свое ремесло, в котором аршин, опыт и вдохновенный ум собственных рук заменяли школьную премудрость. Газет, естественно, не читали и даже численника в доме не держали. Вся их жизнь, прошлая и настоящая, четко, как таблица умножения, укладывалась в стройную систему праздников и постов, так что отсчет вели, говоря упрощенно, от Покрова до Николы или от Сретения до Спаса, а дни ангела почитали важнее, чем дни рождения.

На рождение каждого ребенка старик – еще будучи далеко не стариком – кутил, ограничиваясь, впрочем, трактиром, после чего неукоснительно вручал жене то медальон на цепочке, то агатовую брошь с бриллиантом, то серьги с аметистами цвета теплого сумрака, всякий раз снисходительно дивясь ее страсти к желтому металлу. Сам он носил только простые серебряные часы на «цепке», подаренные женой на именины. Золотое свое обручальное кольцо надевал исключительно по праздникам, отговариваясь помехами при работе, что было правдой. За жену всякий раз суетливо и беспомощно переживал, когда та болела родами; детям гордо радовался, но ни разу более не испытал он такого счастливого трепета, как в том прозрачном апреле, когда взял на руки первое свое чадо.

Постные дни в ветхой землянке – среда и пятница – соблюдались строго, не говоря уж о больших постах. Трапеза была обильной и разнообразной, на это хозяйка была большой мастерицей. Варились щи со сметками или густой грибной суп с пухлой перловкой, тускло поблескивающей не хуже настоящего жемчуга; крупная, вальяжная белая фасоль, запеченная с разноцветными овощами, а уж пирогов!.. Семья собиралась за большим квадратным столом,

сработанным отцом не для одного поколения. За этим же столом, покрытым белой и сияющей, как наст, крахмальной скатертью, справляли и праздники – с молочным поросенком, словно прилеглим боком от усталости на блюдо, гусями, вспухшими от антоновских яблок, и гигантским окороком, рдеющим таким же румянцем, как лицо создательницы этих яств. Для хозяина выставлялся законный праздничный графинчик. Откушав, нанимали экипаж и ехали гулять в центр города. Отец, все еще ощущая себя *ростовскимъ мещаниномъ*, создавал, однако, что для детей родным стал именно этот город, а не Ростов. Мать любила прогулки не меньше детей, да и то сказать: жизнь у нее была непростая и, при всей занятости, однообразная, хоть вой. Ведь классические женские добродетели – *Kinder, Kirche, Kitche*, эти сакраментальные три «К», хороши, только если опираются на четвертое – кротость, а этого в Матрене как не было сроду, так и не предвиделось.

...Ей нравилось гулять по этому западному городу, так не похожему на родной Ростов; нравилось быть главной и строгой, запрещать или снисходительно разрешать, когда к солидному семейству подкатывал свою тележку мороженщик, хотя сама очень любила держать шероховатую вафельную воронку с холодными матовыми шариками. Нравилось, когда встречные благосклонно, восхищенно или с завистью провожали взглядами здоровых нарядных детей; нравилось, что на праздной руке мужа тускло поблескивало венчальное кольцо, и нравилось любоваться тайком на их отражение в витрине.

А конка!.. Матрена делала особенно строгий вид, когда дети усаживались, потом чинно занимала место рядом с мужем. Конка уносила их вдоль реки на долгую прогулку в Царский Лес, где мороженое было совсем уже особенное – не иначе как царское; а старик с наслаждением выпивал холодного пива. Они не сразу заметили – спасибо, дети обратили внимание, – как спокойную конку вытеснил электрический трамвай. Поначалу старуха не очень ему доверяла: рельсы рельсами, а ну как свалится?! Лошадей нету, одной хлипкой жердинкой держится, и то Бог знает за что... Привыкла, перестала бояться и садилась в трамвай с предчувствием чего-то нового и радостного. Это сбывалось: рельсов становилось все больше, а когда трамвайные вагоны зазвенели на форштадте, по Большой Московской, она и думать забыла о своих страхах.

...Потом возвращались – шли по Театральному бульвару мимо пятиэтажной гостиницы «Рим», сворачивали на Александровский, по которому тренькал упомянутый трамвай, оглябая монумент то ли великого тирана, то ли великого реформатора, но в любом случае – великого. С особенной гордостью слушали они звонкий голос старшей дочери, старательно и увлеченно читающей вывески на двух языках: «Контора нотариуса», «Отель Империял», «Склад товарищества ситцевой мануфактуры», «Фабрика Бон-Бон», «Парфюмерия», «Табак». Табаку старик не курил, как старуха не ведала парфюмерии; слова «отель» и «Империял» звучали, как выстиранные пододеяльники, полощущиеся на холодном ветру; к услугам же нотариуса, слава Богу, прибегать не было надобности. Бывало, гуляли и по Старому Городу, неторопливо обходя строгое здание ратуши и углубляясь в затейливые извивы улиц и улочек, вымощенных добротным шведским булыжником.

Город все еще оставался чужим, хоть и обживался понемногу: с Александровского бульвара сворачивали на Мельничную, которая вела домой, к Московскому форштадту, уже привычному, растоптанному и разношенному. Старик уважительно снимал картуз при виде церквей с непривычными аскетическими крестами, которых в богобоязненном Остзейском крае было немало, но оба единодушно соглашались, что лучше их белокаменного храма, отражающегося золотой луковкой купола в реке, конечно же, нет.

Дома он с облегчением скидывал выходной пиджак и жилет и, вешая одежду в шкаф, искоса наблюдал в зеркало за женой. Она расчесывала свои длинные и пышные черные волосы, уставшие лежать сплетенными под праздничным платком. За эти годы он уже выучил наизусть, как она, отложив гребень, гибкими и умелыми взмахами плетет на ночь вялую ленивую косу

больше чем в аршин длины, что прикинул сначала на глаз, а потом выверил: сошлось. Как всегда, на ночь затеплили все лампадки. То ли из окон, то ли от наволочек с кружевными прошивами шел спокойный аромат свежести. Не переставая зудели кузнечики, и это зуденье, хоть и громкое, убаюкивало. Июль выдался необычайно знойным даже здесь, у самого синего моря.

2

«На добрую память милому и дорогому брату Петру Ивановичу Спиридонову от Матрены Ивановны и на память от Григория. Быть может, больше не увидимся. Я ухожу на войну», – написано на обороте фотографической карточки. Лицо старика ничего, кроме хмурого раздражения, не выражает. Старуха здесь покорная (что затрудняет сходство с оригиналом), смятенная и потерянная. Самым решительным выглядит старший сын, стоящий впереди так, словно оба нарочно подталкивают его: ступай.

14-го июля была объявлена мобилизация, потому как земля была хоть и не русская, а все же Россия, ибо входила в Империю вот уже ровно двести лет и четыре года. Памятник Великому на Александровском бульваре озабоченно и хмуро демонтируют, в то время как старуха собирает мужа на войну. Уложила белье, сверкающее и мытьем, и катаньем, гирлянду сушек в льняном мешочке, издающих веселый кастаньетный стук, и неизбежное льняное же вышитое полотенце, а сняв с вешалки столь неуместную сейчас выходную жилетку, остановилась. Муж вошел в комнату с таким же точно лицом, как на фотографии, и она вдруг кинулась к нему: «Гриша!..» Так стояли они, обнявшись: не старик и не старуха – Гриша и Матреша – и знать не знали, как им жить дальше.

Мешок, заботливо собранный женой, старику не пригодился, как и сам он оказался не пригоден к армейской службе, не говоря уж о войне, по причине единственного пломбированного зуба. Он выслушал объяснение пожилого фельдшера, застегнул рубаху, аккуратно высвободив зацепившийся за пуговицу крест, и вышел на улицу, бормоча в усы: «Мать Честная, Пресвятая Богородица!..», и не помнил, как ноги донесли до дому. Ничего не зная об этой войне, он знал только, что на любой войне убивают. Не боялся, что его убьют, – боялся убить. Ни трусом, ни храбрецом старик не был, а боялся по одной-единственной причине, простой и понятной: убивать нельзя. Всегда твердо это знал, а сейчас с каждым шагом ощущал кожей прикосновение креста под нательной рубахой.

Немцев в городе еще не было, хотя вражьи корабли заняли ближний порт; стало быть, скоро будут здесь. Витрину немецкого оптического магазина «Генрих Краузе и Сыновья» в Старом Городе безжалостно разгромили местные патриоты и их сыновья. Ира звонким голосом читала из газет про Бог весть где существующую Сербию, так ощутимо близкую Германию, и что царь клялся на Евангелии воевать до победного конца.

Из всего стало ясно одно: отсюда надо уезжать, а куда, тоже понятно – в Ростов, конечно, куда ж еще. Там все родное и привычное, у обоих остался кто-то из родни, не говоря уж о том, что старику давно хотелось показать отцу с матерью внуков, всех сразу. Вскоре у неразобранного мешка с сушками появилось солидное соседство. Еще бы – самих двое да пятеро детей, а как бросить нажитое?! Старик запер «собственный дом, номер 44» и мастерскую. С соседями простились скоро – многие уже эвакуировались. Отстояв службу Успения Богородицы, вся семья получила благословение батюшки, которое и помогло не потеряться, не отстать от поезда и не быть оттерту в неописуемых мирных баталиях эвакуации, а прибыть в родной Ростов и легко отыскать брата Петра Ивановича, так и не получившего фотографическую карточку по той причине, что не была отослана.

Жилье нашлось вполне сносное. Приодевшись (не зря Матрена сунула в один из узлов выходную жилетку, не зря!) и нарядив детей, отправились к деду с бабкой. Ни деда – дедом, ни ее – бабкой, впрочем, признать было невозможно. Зорким женским глазом Матрена заметила, что кудри у свекра поредели, а сам будто подсох немного, только кисти рук стали крупнее, что ли; усы приглаживал тем же движением, что и муж. Он же, обнимая мать, чуть было не поднял и не закружил ее, как делал с дочкой: щуплая, цыгановатая, она осталась такой изящной, что осознать ее матерью двенадцати детей, воля ваша, было никак невозможно. К тому же назы-

вал ее свекор теплым и ласковым именем «Ленушка», а когда она стремительным и гибким движением сняла платок – примерить новый, подаренный невесткой, – стали видны черные густые волосы, нигде не прочеркнутые сединой. «Ишь, что копченая», – со странной ревностью подумала Матрена, сравнивая налитую тяжесть своего молодого кормящего тела с неуместной девичьей стройностью свекрови. С удовлетворением убедилась, что ни в ком из детей, слава Тебе, Господи, сходства с нею нет, да и живут... не близко. Это примирило ее с мужниной родней окончательно. Застолье удалось; милости просим к нам.

Трое старших детей на правах беженцев были устроены кто куда: Ирочка стала жить в пансионе, Мотя с Андрюшей попали в училище, где обучали ремеслам, в том числе и столярному делу.

Вот неделя, другая проходит. У младшего резались зубы; Тонька была ребенком подвижным, что называется, «живое серебро», и Матрена от всего этого, а также от непривычного быта измучилась. Время от времени, всегда внезапно, появлялась «Копченая». Быстро и ловко, не слушая Матрениных уязвленных протестов, простирывала детское и буквально вытаскивала ее из дому: сходи, развейся. Поджав губы, та хватала корзинку и отправлялась на базар, который базаром звался только в Городе, а здесь – звонким, набатно медным словом майдан. Возвращалась она действительно отдохнувшей, со свекровью разминалась в дверях, не успев вслух ужаснуться ценам на майдане, а дома ждали накормленные, чистые дети, горячие чугуны в печке и еще не просохший пол. Домовой, бормотала Матрена, ставя корзинку, чисто домовой.

Старик в поисках работы уходил рано. Он стал непривередлив и брался даже за мелкий ремонт, но и такую работу стало находить все трудней. Ростов, куда они так стремились, менялся с каждым днем, с каждой приходящей – и проходящей – неделей. Он скучал по старшей дочери, которую видел только раз в неделю, и ему казалось, что за эту неделю она еще больше похудела. Говорят, время видно по маленьким детям. Что ж – Симочка ходил, что прибавило Матрене хлопот, а Тоньке уже заплетали тонкие волосы в косичку. Ира на глазах становилась барышней. Она прибежала в воскресенье, после заутрени, и хлопотала допоздна, виновато помогая матери и стараясь сделать как можно больше. Однако той становилось все тяжелее, да и скудная еда сказывалась. Симочку, любимца, пришлось отнять от иссякшей груди, когда ему только-только стукнул год, и у матери навсегда осталось чувство виноватости, словно недодала самого насущного по своей прихоти или недогляду.

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена... –

пела Ира, развешивая белье. Старику было жаль всех: и друга, и жену, и «самого героя» – этих героев стало появляться на улицах все больше, а сколько их лежало в больницах, а сколько полегло Бог весть где... И про это тоже пела дочь:

...То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Слово «жертва» из песни было, в сущности, самым верным и определяло всю их жизнь. Война шла уже не только в окопах, но и в воздухе, что было совсем страшно, потому что непо-

нятно. Пожилые сестры милосердия с подписными листами в руках, в развевающихся косынках, все чаще стучались в дома, останавливали прохожих на улице: «Жертвуйте...» Предлагалось жертвовать «детям воинов», «семействам павших», «на табак солдату», «на призрение вдов убитых воинов» и даже «на переносные бани солдатам в окопы». Ирочка призналась, что у них в пансионе идет сбор пожертвований «На книгу солдату», и отец не смог отказать, хотя не понимал, на кой им там, в окопах, книги?...

Теперь он уходил искать работу засветло, а возвращался в потемках, но аршин оставался праздно лежать в кармане – не нужна была ростовчанам мебель штучной работы, даже и с резьбой; да и никому сейчас не нужна была. Нужен был хлеб, который стремительно дорожал и норовил вовсе исчезнуть: лавки закрывались, и люди ездили за мукой по дальним станицам. Теперь никто мешками, как прежде, муку не продавал; только стаканами. Да и вообще продавали, как и покупали, всё реже: с деньгами творилось что-то непонятное, ибо свою осязаемую ценность, то есть способность купить, они стремительно теряли, и майдан жил главным образом обменом.

Слава Богу, что в тот день он пришел пораньше. Двое младших сидели под огромным клетчатым платком и замороженно слушали мать. Жена расчесывала дивные свои волосы и так-то весело рассказывала, что дров в эту зиму им не надо, жарко! А первым долгом, расчесав волоса, отправятся они в новый парк на Елизаветинской, да от солнца чтоб зонтик не забыть – не дай Бог, напечет, уж как палит, как палит, точно печка. На дворе стоял ветреный ноябрь, и старик недоуменно остановил ее руку с гребнем: «Мамынька?...»

У мамыньки оказался тиф. Сестра милосердия быстро выпроводила старика и детей приводить не велела. Старшая, однако, прибежала и долго плакала, обняв истаявшие ноги матери, после чего и случилось самое страшное: свалилась в тифу. Старик отвез младших к деду с бабкой и отныне каждый день, помолившись Богу и торопливо выпив стакан кипятку, спешил в больницу. Ни к старухе, ни к дочери было нельзя, но заставить себя уйти он просто не мог, и сестры милосердно не гнали его. Сам заболеть не боялся, даже не думал об этом ни секунды. Дома, перед сном, горячо и гневно молился, обещая все имение свое, лишь бы...

Перестал замечать, как меняется Ростов; ему казалось только, что родной город обесцветился, несмотря на обилие ярких плакатов, все так же призывающих жертвовать, жертвовать, жертвовать... А может, обилие выгоревших солдатских шинелей сделало город бесцветным. Если столько солдат в Ростове, то сколько ж их на фронте? И не додумывал эту мысль до конца: боялся только, что потребуют от него *главной* жертвы.

Засыпал с радостью – еще один день прожит! В Ростове начал видеть сны; просыпаясь, изумлялся, насколько сны эти походили на горячечный бред жены. Снился Город, но не праздный, нарядный центр, где они гуляли до войны, а их Московский форштадт, домик на Болынегорной, и как он ладит новое крыльцо, чтобы брюхатая мамынька, упаси Господь, не оступилась. В мастерскую шел мимо кладбища, пылил сапогами по песку; сразу за высокими кирпичными воротами начинался спуск на Двинскую, ведущую в просторный подвал, заваленный свежими стружками. Во сне нужно было чего-то ждать: то ли материал вот-вот привезут, то ли рабочие задерживаются. С Большой Московской доносятся стук лошадиных копыт и скрип колес. Старик мечтал туда переехать, даже и дом присмотрел: высокий, каменный, на углу с Католической.

Сон таял на рассвете, непременно что-то оставив и перенеся в Ростов: вот за окном проехал парный экипаж со скрипящими колесами, а в памяти затухали чьи-то слова, непонятные, как и полагается во сне, но на знакомом протяжном языке...

Когда его допустили к выздоравливающей жене, он поражен был не глубиной запавших глаз и не татарскими скулами, а – воспоминанием, как она расчесывала волосы в последний раз: больше расчесывать было нечего.

Ирина болела долго; уже не чаяли. Из больницы вышла сразу после Крещения, с такими же, как у матери, невесть откуда взявшимися скулами, и обритой головы своей очень стеснялась.

Из-за этих постоянно дежурящих смертей (у Иры был и возвратный тиф) старик потерял способность понимать, что происходит вокруг, хотя происходило столько, что с лихвой хватило бы на десятилетия безвременья. Солдат на улицах становилось все больше, а милосердные сестры уже не собирали пожертвования, а выхаживали раненых. Жизнь, как и война, стала для него одним нескончаемым тифом с пугающим бредом из новых странных слов: *жмых, мешочник, заем, дезертир, пиенка, спекулянты, теплушка...* и вдруг, особенно звонко: *родзянка!* Что такое *этародзянка*, Мать Честная?! Бывало, что этот ужас просачивался и в спасительный ночной сон, и тогда не было покоя. Нет, сначала шло, как всегда: Город, будто бы пятница, и мамынька собрала ему белье в баню. Отчего-то сильнее, чем всегда, вязли сапоги в уличном песке; да баня-то рядом, надо только на Витебскую свернуть. Он и свернул, но бани не увидел, а вместо бани не то конюшня, не то амбар необъятный какой-то; главное, однако, что внутри темно, а куда уходит эта темнота, Бог весть, и сердце тоскливо сжалось. Уйти бы совсем, но чтобы уйти, надо к *этому* спиной повернуться, а сапоги как приклеились и все глубже в песок уходят. Главное, он помнил, чтоб ворота не закрыли; тогда конец. И руки заняты – узелок с бельем, да тяжелый какой! Что ж там такого тяжелого, Мать Честная? Развязать бы, да некогда, вот-вот ворота закроют, бежать надо, да куда бежать-то?! Вдруг словно подтолкнул кто-то: а в мастерскую, мастерская ведь рядом! Весь в поту, задыхаясь от неимоверных усилий и страха, он выдернул – не сапоги, нет: ноги, – на едином вдохе повернулся и бросился в еще открытые ворота, боясь оглянуться. Босиком побежал по совсем чужой Витебской, один квартал только до мастерской, и влетел в подвал, все еще сжимая в руке узелок. Стружки ласково щекотали босые ноги, вещи целы – мамынька не будет ругаться, и старик как-то сразу успокоился. Надо работать, раз уж в баню не попал; а сапоги – дело наживное. Подойдя к верстаку, повел рубанком по доске: *жмых-жмых-жмых!* От этого звука и проснулся, содрогаясь от омерзения к вышедшему из повиновения рубанку.

Непонятно было все, куда ни оборотись. Царь, который клялся на иконе и на святом Евангелии воевать до последнего, был где-то безнадежно далеко, а кто поговаривал, что его уж и вовсе не было. Наверное, поэтому воевали теперь не только с немцами, а и с кем попадая, и даже друг с другом, отчего, должно быть, часто менялась власть. Она врывается в город одинаково бесцветными шинелями, но была диковинным образом окрашена в цвет своих знамен, точно солдаты сговорились играть в неизвестную игру, где все воевали противу всех.

Так проходила неделя, потом другая. Изменилось время, а у нового времени появились свои, иные, приметы: вороха бумажных денег разного вида и цвета, но одинаково бессильные что-то купить; гармошка, удивленно ахающая на дворах и завалинках, на майдане, на вокзалах; поезда, идущие Бог знает куда... Людские судьбы, да и сами люди мчались, катились стремительно куда-то, словно яблоки из перевернутой корзины, – в пыль, в канаву, в бездну. Песен про ужасы войны уже не пели – такие песни для гармошки не годились; придумывали новые, да и не песни вовсе, а – так, припевки, которые даже не пели, а кричали, ухая, точно капусту рубили. Сколько их было, припевок этих, и все пели по-разному, а называли одинаково: «Яблочко». Случайно?...

Эх, яблочко,
Недозрелое –
Красна армия
Гнала Белую.

От станции

К полустаночку –
Полезай ко мне
На тачаночку.

Раз услышанный, примитивный и навязчивый мотив долго и беспокойно зудел в голове, да и не удивительно: пели везде, под гармошку или притоптывая, а чаще – вместе, и даже шелуху от семечек, казалось, сплевывали в такт.

Эх, яблочко,
Черны семечки –
Все рядом легли
Да у стеночки.

Впору было бы отредактировать Владимира Красное Солнышко, что отныне «веселие Руси есть пети», а может быть, как раз это и сделал новый правитель страны, тоже Владимир, и тоже – красный.

Эх, яблочко,
Да румяное –
Комиссары
От крови пьяные...

Матрена была совсем слаба, и он сам собрался на майдан – кое-какие деньжонки еще сохранились из тех, царских, которые только и оставались пока подлинными деньгами. Обошел толпу солдат в расстегнутых шинелях и любопытствующих баб: какой-то вольноопределяющийся с красным бантом на груди, поднявшись на постамент статуи Александру II, кричал непонятно про пушечное мясо и размахивал рукой, будто швыряя что-то в толпу. «Да какое мясо, – визгливо заорала одна из баб, – кто его видел, мясо-то?!» И то, молча согласился старик, мясо еще когда пропало; хорошо, если требухой разживешься.

Он давно не был на майдане и с трудом узнал этот некогда обильный южный базар, где можно было найти что угодно, от колесной мази до текинского жеребца. Впрочем, и сейчас глаза разбегались от обилия самых разнообразных вещей, которые люди пытались выменять на хлеб. Пара атласных туфелек с длинными лентами-завязками. Машинка для стрижки волос, какими работают в парикмахерских. Гигантский чернильный прибор на малахитовой подставке, изображающий бронзовых медведей, самый маленький из которых держит хрустальный бочонок с бронзовой же крышкой. Новый, неношенный мундир с неподшитыми рукавами и ровной наметкой белыми нитками вдоль борта; доброго сукна мундир, многие шупали. Пожилая дама и с ней молоденькая барышня – совсем как Ирочка – разложили на прилавке книжки; барышня открыла одну, да и зачиталась, быстро-быстро листает и прядку волос на палец наматывает. Старик краем глаза увидел на картинке гимназисток за партой и чью-то фигуру у доски. Решился и купил – порадовать выздоравливающую дочку; дальше шел с толстой бордовой книгой под мышкой и смутным чувством вины: мамынька не поймет.

Остановился внезапно, как в стенку уткнулся: какой-то малый держал в руках форменные казацкие штаны с широкими красными лампасами. Не веря своим глазам, приблизился:

– Ты что же, форму продаешь? Продается, спрашиваю? – Наверно, в голосе что-то странное прозвучало; парень даже отшатнулся.

– купишь, так продам, – сказал, но неохотно, не как продавец.

– Как же ты, форму?... – Максимыч не договорил.

– Мне, батя, *там* форма не нада, – ответил малый, – в чем есть похоронят. Так покупаешь, что ли?... – И парень настороженно оглянулся.

Не чуя под собой ног, старик прибежал домой. Нет, ничего не принес – и, задыхаясь от бега, все рассказал жене. Матрена произнесла только одно слово: «Ступай».

Он понял – и припал благодарно влажным лбом к платку. Платок соскользнул, отрастающие волосы упали на лицо.

– Да ступай же, Ос-с-споди!

На бегу что-то мешало все время, но остановиться и понять, что именно, боялся: спешил. Ворота, двор – и вбежал в дом. Мать приподнялась со скамейки ему навстречу, простоволосая, платок зажат в смуглых руках, и с отчаянием встретила его вопросительный взгляд черными, как у сына, не выцветающими глазами: увели. Увели отца; братьев не было, их ищут.

– Ищут? Кто?

Да эти... новые. Не только их – всех казаков. То *росказ*, *росказ*, – плакала мать. Он не понимал. Какой приказ? Мать повторяла страшное слово:

– *Выкончиць*, – «извести», мотая головой с рассыпавшимися волосами, и сын вдруг увидел сверкающую, как лунная дорожка, белую полосу справа. Совсем белую. Стоял и гладил ее по голове, как ребенка, а мать шептала пришепетывающей польской скороговоркой:

– Уходи! уезжайте, уезжайте обратно... – и совсем неслышно: – Мрук. – Мрак.

В тот зимний день, когда он увидел седину в волосах матери, ей было пятьдесят восемь лет. В Ростове должно было случиться еще многое, а тогда нужно было снова бежать – уже домой. На крыльце заколоченного лабаза сидели солдаты, и самый молодой, в свалывшейся шапке-манчжурке, нежно подбрасывал гармонику, словно ребенка тетешкал:

Коли был кулак –
Раскулачили,
А кто был казак –
Расказачили.

Другой, с кисетом в руке, одобрительно подхватил:

Раскулачили –
А взять-то нечего,
Расказачили –
Память вечная.

Старику стало жарко, он ускорил шаг, и снова что-то непривычное мешало; на пороге дома у него из подмышки выскользнула книга.

Максимишч страстно хотел освободиться от этого морока, забыть навсегда бред и ужас. Со дня на день ждали прихода каких-то анархистов; им с Матреной слышалось: антихристов. Проелись и отощали так, что разбитое корыто должно было вот-вот предстать во всей своей деревянной плоти; и неделя, и другая проходили, а выхода никакого не виделось. Да, они были в Ростове, и Ростов был – свой, но они ему своими уже не были. Все чаще вспоминали Город, но в Городе были немцы. Трезво взвесив все, что еще было весомо в этом чумном аду, решили, что немец лучше антихриста, а дом там, где родные могилы; и так, переговариваясь и раздумывая вслух, собрали незаметно и быстро скудные пожитки, которые прежде были вещами.

Поколебавшись, отец кивнул Моте: пойдем к деду с бабой. Пересекая шумную улицу, наткнулись на Иру с Андрюшей, торгующих самодельными папиросами. Пошли вчетвером. Старик загадал: лишь бы с улицы был виден дым из трубы, тогда... лишь бы дым, и вытягивал шею. Ирочка шла рядом, спрятав озябшие руки в старенькую материнскую муфту и стараясь

попасть в такт с его большими шагами. На повороте мальчики вдруг пустились наперегонки, и он не успел заметить, идет ли дым; а может, мать с утра топила печку-то...

– Дома нету, – разочарованно выдохнул запыхавшийся Андрюша.

Печь почти остыла, но чугунок с ячневой кашей был еще теплым. Это вселяло надежду: разминулись, мать вышла ненадолго; где-то поблизости.

Дух перевести перевели, но ждать было недосуг: надо еще успеть попрощаться с Матрениной родней. Как мог медленно, направился он к двери, дети следом. На пороге светлел ровный клетчатый лоскуток: карта, рубашкой вверх. Он поднял и перевернул: шестерка треф. Бережно обтер черные капельки, связанные в скупые кресты, и сунул в карман.

Шестерка – дорога; матушка напонила – торопила. Или обронила, уходя? Или – про свою дорогу знак подала, кто знает...

Дома, когда уходили проститься с братом Пётрой, столкнулись в дверях с дамами из дочкиного пансиона. Дамы пришли от попечительского совета: просили оставить Ирочку для серьезного обучения вокалу и музыке, «для ее же собственного блага». Та, что помоложе, уговаривала, волнуясь: «Подумайте, госпожа Иванова, ваша дочь очень музыкальна. У нее прекрасное меццо-сопрано, она должна петь, ей нужно хорошее образование». Вторая, пожилая, добавила: «Попечительский совет постановил принять вашу дочь на казенный кошт, – и сочла нужным пояснить: – Вам, госпожа Иванова, это ничего не будет стоить». До сих пор настороженно молчавшая, госпожа Иванова ответила с незабытой величием: «Она старшая, а всех у меня пятеро. Не петь она должна, а ремеслу учиться». Даже не переглянувшись, попечительницы откланялись; и то – Петра заждался.

Быстрых дорог, как и дорог безопасных, в то антихристово время не было. На всех пересадках и переправах, во время изнурительного ожидания поезда, везущего неважно куда, лишь бы – оттуда, старик больше всего боялся нового тифа и молился горячо, страстно, под удалой припев:

Пароход идет –
Волны кольцами;
Будем рыбу кормить
Добровольцами...

3

Уберегла Пречистая. В Город прибыли на Рождество Богородицы. Праздничную службу отстояли на своих привычных местах, в родном златоглавом храме. Старик незаметно попробовал крепкой рукой лесенку: хороша, не расшаталась. Знать бы ему, что и через 88 (прописью: восемьдесят восемь) лет стоит она здесь, на своем привычном месте, такая же крепкая, хоть ступеньки посередине уже немного подтаяли под сапогами свечника, поднимающегося на эти четыре шага, чтобы поставить длинные, медового цвета, тусклые свечи, зажечь их, перекрестясь, и на те же четыре шага спуститься. Совсем немного подтаяли...

В мастерской из довоенной жизни и ростовских снов разместилась скобяная лавка. Первым делом старик снял квартиру, как и примеривался давно, на Большой Московской, в третьем этаже высоченного каменного дома. Первый этаж пустовал, и хозяин охотно сдал половину под мастерскую. Почти все вещи, оставленные второпях в доме на Больше-горной, где старик в ростовских снах любовно чинил крыльцо, сохранились, и старуха умело и с увлечением начала обустраивать новое жилье. Старик приладил на дверь изящную латунную табличку с гравировкой «Г. М. Ивановъ» и понял, что он – дома. Дом № 44, хоть и собственный, по сравнению с новой квартирой выглядел домиком; до приезда своих решено было сдать его внаем. Места в мастерской хватало, мастера Иванова помнили; не сразу и не очень скоро, но начали прибывать заказы. Вначале было трудно, но тяготы не шли ни в какое сравнение с ростовским мороком и страхом. Оба сына, Мотя и Андрюша, не отходили от верстаков, но настоящего помощника старик обрел только в ноябре.

На базаре, договариваясь с пыльщиками о дровах, он заметил странную кургузую фигуру, похожую на пингвина. Пленный немец, зябко дующий в воротник жалкой шинельки, топтался вперевалку, пытаясь согреться. У его ног на аккуратно расстеленной газетине лежали мелкие деревянные поделки. Пыльщики, посмеиваясь, рассказали, что продают «фрицу» ненужные обрезки, из которых тот ладит всякие финтифанты; тем и живет. Старик быстро оценил, что без какой-никакой стамески и доброго навыка тут не обошлось, и решительно пригласил немца в трактир погреться, откуда они вместе направились прямо на Большую Московскую. Самое смешное, что фриц и впрямь оказался Фридрихом!..

Дело пошло на лад с самого начала: ремесло Фридрих знал отлично, был аккуратен и исполнительен, как и следует быть немцу; особенно же искусен оказался в инкрустации.

Старшая дочка между тем пошла учиться к портнихе мадам Берг, тоже немке; младшая ходила в школу. Самый маленький, Сенька, увезенный в бредовый Ростов полугодичным, понятно, нежился дома, при матери, которая баловала его как могла.

Все мальчишки, кроме Андрюши, так и не научились выговаривать букву «р». Не помогли ни мамынькины подтрунивания, ни беззлобные насмешки сестер:

– Сеньк, а Сенька! Скажи: «кружка», сахару дам! Мальчик глядел исподлобья, потом с торжеством кричал:

– Стакан!..

Только одно событие омрачило их жизнь: умер старухин отец, почти до последнего дня работавший бакенщиком на реке; умер незаметно и быстро, не успев соскучиться в больнице, никого не обременив долгой болезнью. Схоронили, опустив гроб в рыхлый желтый песок рядом с могилой Сиклитикеи, и Максимыч крепко и бережно поддерживал жену, зная, что обнимает сразу двоих.

Вскоре после похорон родилась девочка, Лизочка. Восхитительно красивой родилась, только плакала все, будто жаловалась. Мать не спускала ее с рук; прибежав от портнихи, Ира брала сестричку и носила, носила до утра. Ребенок не успокаивался. Пригласили доктора; он долго слушал сердечко, осмотрел миниатюрные ушки, но ничего внятного не сказал. У Иры

на руках девочка, наконец, затихла; та обрадовалась и долго еще носила красавицу, боясь потревожить переключиванием, и напрасно боялась.

Отпевая младенца Елизавету, двенадцати дней от роду, батюшка так и сказал: «Бог дал, Бог и взял». Кладбище печально расширилось из-за маленькой, словно ненастоящей, могилки, а в коротком еще поминальном списке старухи стало одним именем больше. Старик не успел полюбить Лизочку, но ее долгий плач будил его вдруг по ночам, оставляя в груди ноющую жалость и боль.

Больше старику со старухой Бог детей не дал.

За своими хлопотами, то радостными, то печальными едва заметили, как и здесь наступила советская власть, – догнала, что ли? Правду сказать, выглядела она совсем не так, как на Дону, да и не прижилась. То ли почва оказалась неподходящей, то ли выдохлась по пути, неизвестно. Одна за другой возникали партии разного покроя и фасона, точно туалеты у легкомысленной модницы. Модница оказалась капризной. Перемерив все обновки, придирчиво огляделась по сторонам и скроила наряд по собственному вкусу, после чего стала называться *независимой республикой*, и о скоротечной советской власти стало неприлично даже упоминать. Впрочем, старик здраво рассудил, что мебель нужна и при советской, и при буржуазной власти, и оказался прав. Старуха сердилась, узнавая в очередной раз, что прежние деньги уже не годны и надо привыкать к новым; долго не могла взять в толк, что денег, лежавших у них в банке до войны, уже нет, как нет и самого банка, и сердилась почему-то на мужа, в особенности когда находила в старом ридикюле царскую ассигнацию серьезного достоинства, не стоящую теперь ничего.

У жизни появился иной, нежели раньше, временной отсчет: все, что было до войны, называлось нынче «мирное время» и покрывалось, как молоко загустевающими сливками, теплым эпическим словом «бывало». Бредовые годы эвакуации обозначались неохотным и неопределенным «тогда, в Ростове», причем для обоих давний, безмятежный Ростов их юности и Ростов тифозный были точно разными городами. Да и только ли для них?...

И опять: вот неделя, другая проходит, и составляются из этих недель месяцы, а там, глядишь, и снова Великий пост, потом Пасха. Старик почти не менялся, разве что усы и небольшая бородка не то чтоб даже поседели, а как-то слегка выцвели. Шевелюра его, в молодости пышная и кудрявая, словно взбунтовавшись против неизбежного картуза, отбросила последнее условности и предстала откровенной лысиной с достойной, все еще волнистой каймой. Жена хоть и твердо знала, что бабий век – сорок лет, с тайным сожалением распускала то пояс, то вытачки. Волосы у нее давно отросли, но коса уже не оттягивала голову, да и мерить ее стало неинтересно.

Летом снимали дачу и выезжали к самому синему морю, где наслаждались скуповатым солнцем, чистым белым песком и снисходительно рассматривали приезжих курортников, упакованных в полосатые триковые купальные костюмы до колен. По выходным, как прежде, ездили гулять: то в Лесной Парк, который только начинал застраиваться фешенебельными особняками и куда съезжались многие, чтобы погулять и устроить пикник на траве; то, как в мирное время, в центр города. Главные улицы, казалось, поспешно вышли замуж за новую власть и стали зваться по-другому: Александровская стала улицей Свободы, бульвар Наследника обрел имя самого талантливого поэта республики. В Старом Городе таких изменений не было, зато появилось много новых вывесок. Проходя пустой пьедестал, вспоминали о памятнике Великому, который убрали в начале войны. Впрочем, все вместе, как в мирное время, гуляли уже не так часто: Иру наперебой приглашали кавалеры. Никого не желая обидеть, она установила твердый график ухаживаний. Одному позволялось встретить ее после работы и преподнести букет, другой ждал на площади, чтобы проводить до угла, но обидеться за краткость встречи не успевал, поскольку третий соперник уже бежал навстречу – пройти рядышком целый квартал, которых до дому насчитывалось шесть. Самое удивительное, что никто не оби-

жался: чаровница была со всеми кавалерами улыбчива и приветливо ровна, как с братьями. Родители ломали голову, пытаясь понять, кому же она отдает предпочтение, но додуматься не могли. Двое уже приходили сватать дочку, чем рассмешили ее до слез, после чего обоим было разрешено проводить «невесту» до кинематографа, где с билетами на Макса Линдера ждал третий.

Двое старших парней продолжали осваивать отцовское ремесло. Оба работали старательно, учась не только у него, но и у Фридриха. Немец неожиданно для всех преподнес Ирочке на день Ангела шкатулку для рукоделия, изящную и одновременно вместительную, отделанную элегантно-строгой инкрустацией из трех пород дерева. Отчего-то накануне волновался Фридрих и даже уронил себе на ногу рубанок, что уж совсем было для него не характерно. На празднование явился во всем новом и, вручая подарок, чопорно поцеловал у фройляйн ручку, сильно при этом порозовев. Пока именинница приседала в книксене, Матрена зорко пробурлавила взглядом перламутровые запонки, узел галстука, бугрящийся под адамовым яблоком, решительно набриолиненные волосы, обыкновенно цвета пыли, и уже подняла было брови, да передумала; и правильно. А шкатулка хороша... такие вещи служат долго, где-то она и сейчас, небось, стоит, только инкрустация могла облупиться местами, как скорлупка...

Тоне, второй дочке, уже шестнадцатый год шел. Она так же сильно походила лицом на отца, сколь на мать – характером и нравом. В ней совершенно не было улыбчивой легкости старшей сестры, и так же, как мать, Тоня очень любила золотые украшения. Младшенький, Сеня, или, как мать предпочитала звать его, Симочка, рос изрядным шалопаем: то ли от материнской залюбленности, то ли от беззаботности самого младшего в семье.

* * *

Незаметно бежало это безмятежное время. Молодежь взрослела, кавалеры у Иры не переводились, но поскучнели: вот уже несколько лет она предпочитала общество молчаливого и чуть высокомерного от собственной застенчивости типографского наборщика, с таким же отчеством, как у нее, и с патриархально-староверским именем Конон, а в быту – Коля. Мало-помалу другие ухажеры завяли, как их букеты, а потом вновь расцвели, женившись и перестав быть кавалерами. Старуха с легкой грустью повесила в шкаф платье из панбархата, в котором отпраздновала серебряную свадьбу – двадцать пять лет, как одна копеечка, сложившись из седмиц: «вот неделя, другая проходит». Все еще царственную шею приятно оттягивал золотой медальон. Старик в тайниках души лелеял планы грандиозной свадьбы и несказанно обрадовался, когда дочь сказала ему:

– Папа, мы с Колей решили...

Однако планы его сторели, как сухие стружки в плите. Мягко улыбаясь, но очень решительно дочь отказалась не только от грандиозной, но и от свадьбы вообще. Наотрез. Сбитый с толку совершенно, а как же с венчанием, получил короткий ответ: завтра. Улыбнулась и попросила об одном только – благословить «Нечаянной Радостью».

Еще пуще старуха бранится... Бранилась и скандалила старуха наедине с иконами да время от времени с собственным отражением в большом овальном зеркале: муж со старшими был в мастерской, виновница материнского гнева на работе, младшие учились. Без сватовства! Без приданого!.. Когда ж хлопотать о нем?! Без свадьбы, Осс-споди! Проклянуну, подумала грозно, и тут же, испугавшись страшной мысли, сотворила молитву. Досталось, однако, и кузнецовского фарфора рыбному блюду – чуть не расколотила, и вилкам, обиженно загремевшим под горячей рукой, и, конечно же, старику, виновному примерно в такой же степени, как блюду.

Что ж? Через год старуха держала на руках внучку и горда была и счастлива безмерно, но не скрыть этого не могла и потому нашла порок: черна, мол, слишком – цыганская кровь.

Старик привычно не слышал ехидства – давно знал, что жена не любила его покойницу-мать, которая действительно была взята из польского табора и крещена Еленой вместо прежнего басурманского имени Лана.

В памяти Матрены маленькая, черная как головешка «иноземка» навсегда осталась неумелым своим крестным знаменем, быстрой и легкой походкой, неуместной у матери двенадцати детей, да смешным шершавым языком, над которым невестка посмеивалась; так охотно и часто смеялась, что сама не заметила – и удивилась бы, если б ей сказали об этом, – как много метких и выразительных польских словечек вкрались в ее речь и уютно устроились навсегда. Свекра, худошавого лихого казака с такими же блестящими, как у мужа, усами, чтила, хоть и ревниво недолюбливала за «иноземку».

К ее собственной родне придаться было невозможно. Матушка, тихая хлопотунья с суетливым именем Сиклитикея (та, что первой легла в неростовскую землю), во всем слушалась мужа, который носил библейское имя Иона и, должно быть, поэтому всю жизнь был связан с водой: то нанимался плотогоном, то плавал бакенщиком по ночному Дону, зажигая огни. Вернувшись домой, Иона ужинал излюбленной своей тюрей, то есть крошил в миску черный хлеб, крупно резал лук, наливал постного масла и, перемешав и посолив, добавлял воды. Вопреки робким протестам жены, любил готовить это яство сам. Несмотря на привычку к такой аскетической еде, сложения был богатырского и силы поистине былинной. Так ведь других и не брали гонять плоты.

В очередной раз Матрена усмехнулась, вспомнив историю собственного отчества. Дети Ионы должны были, по логике вещей, зваться Ионовичами, однако у вещей одна логика, а у чиновников – другая. Первым вспылil брат Мефодий, так решительно отказавшийся стать Иоанновичем, что едва не разлил казенные чернила; обошлось, слава Богу. Старшие, Фома и Петра, не сразу поняли, как испуганный лысоватый человечек сделал их Ивановичами; а известно: что написано пером, того не вырубишь топором.

Странно, что этот неторопливый серпантин воспоминаний вьется незатейливой лентой, как раз когда старуха пеленает первую свою внучку. Крестной матерью захотела стать Тоня, очень гордая тем, что она теперь тетка. Девочку окрестили Таисией, но иначе, как Таечкой, или Тайкой, никто ее, конечно, не называл.

Снова и неделя, и другая проходит, и девочка Таечка уже косолапо топает в крохотных патентованных ботиночках на кнопках до щиколотки, слегка оглушенная оркестром на Мотиной свадьбе. Свадьба гремела – старик взял реванш – в модном кафе «Би-Ба-Бо», как раз напротив Елизаветинского парка, куда так мечтала попасть мамынька из голодного тифозного Ростова. Впрочем, парк тоже сменил название, породнившись с новой властью, которая, кстати, давно уже не новая.

Новый внук – Мотин сын – появляется на свет как раз на архангела Михаила. Мишка чернобров и смугловат, но до Тайки ему далеко. У старика прибавилось работы: помочь Моте, который уже начал строить дом – там же, на Песках, совсем неподалеку; где ж еще. Прибавилось забот и у старухи: коса незаметно редела, а тело тучнело, но заметно, уж и распарывать да выпускать нечего. Слава Богу, дочь портниха: и отрез выберет, и скроит, и сошьет. Спасибо пускай скажет, что пенью учить не оставили с антихристами, прости, Господи, мою душу грешную.

Ирина спасибо не говорила, да и вообще говорила мало, зато много и напряженно работала, а дом вела не хуже матери – иначе не могла. Таечке было уже четыре, когда родился братик Левочка, такой белокурый и голубоглазый, что потрясенная родня долго озадаченно всматривалась в карие глаза счастливых родителей-брюнетов. Всматривались так долго, что чуть было не пропустили, как Тоня, крестившая и этого племянника, стала невестой молодого задумчивого фармацевта, как раз поступившего в ученики к известному дантисту. У жениха

было огромное достоинство, которое Тоня оценила сразу: он был сиротой, а тетка, воспитавшая его, была такой древней, что в расчет не принималась.

Уж как ревниво, как требовательно старуха вертела дочь-любимицу, то поминутно поправляя корсаж, то призывая к порядку локон, якобы случайно выскользнувший из-под флердоранжевого веночка, да и сам этот фран... фрол... тьфу! – померанец. Максимыча, уже во всем праздничном, допустили поглядеть, а также выслушать жалобы старухи на капризный померанец, что он и сделал, а потому был отпущен с наглухо застегнутой жениной рукой жилеткой. Дался им этот померанец, думал старик; и что это все невесты, как сказивши: подай да подай, а что в нем? – невидные такие цветки, и все. В памяти тут же всплыл гомон базара, лотки и прилавки с фруктами, горки померанцев и апельсинов, чья-то тянущаяся к ним рука, когда старик вдруг явственно ощутил свою собственную ладонь, гладящую не апельсин, нет: тугой беременный живот молодой жены, с торчащим, аккурат как у апельсина, пупком. Ах, ты, Мать Честная!.. Должно быть, от этого откровения у Максимыча на свадебной фотографии несколько плутоватый вид; старуха же строга и величественна, как и следует быть Матроне. Жених горд необыкновенно и красив, каким никогда раньше не казался; а вот и ветхая, иссохшая тетка – она сидит рядом с уверенной и счастливой невестой, одетая от головного платка до ног в черном, и так же уместна, как пьедестал почти забытого памятника на бульваре Свободы.

Ан нет: пьедестал этот, на вид совершенно бесполезный, обозначил место нового монумента – памятника Свободы. Строили его целиком на народные пожертвования – кто сколько мог, столько и давал, и на диво скоро – через два года – он был торжественно открыт. Теперь бульвар Свободы обтекал его с двух сторон, как некогда, в мирное время, таким же манером расходился и смыкался вокруг гарцующего на коне Великого Государя.

Монумент был прекрасен. Высокий столб с устремленной ввысь женской фигурой подпирала – и преданно охраняла – воины в латах и с мечами, с глазами, полуприкрытыми от усталости и боли. Взгляд Свободы был направлен вниз, на них, а на сером мраморе высечено посвящение: «РОДИНЕ И СВОБОДЕ», причем пластина эта вмонтирована в красно-розовое мраморное подножие, и плиты уложены так, что казались истекающими кровью. Линии и формы поражали гениальной и строгой простотой. Во время торжественного открытия памятника двое офицеров в толпе негромко поговорили о том, что свободу нужно время от времени мыть в крови, и оба польщенно удивились, когда та же мысль патетически зазвучала в речи одного из выступавших патриотов.

Полюбовавшись новым монументом, отправились гулять по городу всей разросшейся семьей. Обошли сквер напротив Национальной Оперы и двинулись вдоль городского канала. Тайка с Мишкой скормили лебедям свои лакомства и все сокрушались, что птицам холодно: стоял ноябрь. Ира волновалась, что дети простудятся, но все же направились в Старый Город, к Ратушной площади. Там, напротив ратуши, находился знаменитый чайный магазин, куда тотчас же озабоченно устремились дамы. Мужчины остались ждать, а дети вертелись вокруг, разглядывая памятники и затейливые старинные фронтоны. Старик с уважительным восхищением прислушивался, как оба зятя рассказывают о Старом Городе: сами старики мало что могли рассказать внукам, ибо ничего, кроме своего Московского форштадта, не знали. Зятя-то учились и, как видно, не зря: говорили, будто из книжки читали, дети только успевали головами вертеть.

Старуха с самого начала зорко присматривалась к зятям, пытаясь отыскать слабые места. Старший, Коля, ей очень импонировал внешне. В то же время своей элегантной стройностью, сдержанностью и негромкой книжной речью он казался на форштадте нездешним, хотя сам был из простой семьи. Недостаток в нем выискался скоро: зарабатывал намного меньше жены, которой дарил, к слову сказать, книжки, а чтоб стоящее что-нибудь, так нет; а та и рада, простофиля.

Тонечкин Федя был сутуловат, ростом ненамного выше жены, зато держал ее, как куколку, и квартиру нанял из четырех комнат, в центре. Мало что в каменном доме, так и в баню ходить не приходилось: прямо в квартире ванная была. Старухе было немного досадно, что ее любимица будет жить так далеко, но Тоня объяснила, что Федор Федорович начинает делать зубные протезы на дому, для чего в квартире и комнатку маленькую, пятую, оборудовали, а кто ж порекомендует солидного пациента врачу с форштадта? Это мать поняла и «Федор Федоровича» оценила. Попыталась было занести в графу с недостатками то, что младший зять был православным, но не получилось: ни одного праздника в моленной не пропустил, хоть и крестился по привычке тремя перстами. Тоже покупал книги (даже шкафы особые завел со стеклами), так ведь тут и деньги другие. Федя получил диплом зубного техника, но и жене, и теще нравилось называть его среди знакомых доктором, отчего он сначала конфузился, а потом как-то перестал замечать, что ли. Человек он был добрый и, как большинство добрых, тихим. Знаниями своими в медицинской науке гордился, и когда сказал теще, чтобы она не заворачивала младенца в свивальники – дескать, вредно для ребенка – она только губы поджала, но спорить не стала, забрала домой отбеленное полотно: пригодится для других внуков. А Тонечка уже нянчила сына, который родился копией отца, только что не сутулился.

Оба зятя курили папиросы, и тут старуха оказалась в затруднении, потому что средний сын, Андря, тоже начал курить, а за ним и Симочка, возомнивший себя кавалером: того и гляди женится.

Женился, напротив, Андрюша, внезапно и безрадостно: не от большой любви, а потому что иначе нельзя было. Всегда задумчивый, он был в последнее время смутен и мрачен. Как все мужчины его возраста, он уже несколько лет носил форму Республиканского защитного батальона и не всегда ночевал дома, что понятно. Оказалось – вон оно что.

Если бы не вмешательство старухи, то через несколько месяцев одним внебрачным ребенком (тоже мальчиком) стало бы больше. Сын все рассказал сам, да и не много было рассказывать. Мамынька не была в восторге от невестки, уже «с начинкой», но твердо сказала:

– Женись, твой грех.

Обычно тихий и покладистый, Андрюша вспылил и наговорил старикам, как потом вспоминала мать, «сорок бочек арестантов» и даже пригрозил сделать над собой что-нибудь, на что получил еще более суровое:

– Грех, Андря!

Старик маялся и ничего не говорил, но думать, что Андрюшин сын не будет Ивановым...

Почему-то мамынька твердо знала, что мечтательный Андрюша свою угрозу в жизнь (точнее, в смерть) не претворит, и не ошиблась. В ту ночь родители не спали. Мать истово молилась, отбрасывая нетяжелую косу и опускаясь грузным телом в земных поклонах: за сына, за будущую сноху и за невинного младенца, который должен стать уже седьмым по счету внуком.

После торопливого венчания последовало негромкое домашнее застолье вместо свадьбы. Новая невестка не нравилась мамыньке, только невозможно было сказать чем. Надежда была аккуратная, ладная, яркая и ловкая, но всего в ней было как-то через край: и ловкости, и яркости, и говорливости. Где-то в глубине души и слова нашлись подходящие: окрутила сына. Так ведь нет – сама заставила жениться! Подумав, мамынька привычно поджала губы: тем и не хороша, что не девкой под венец пошла. Да еще тем, что хоть и старалась угодить старухе, было видно, что на самом-то деле ни в грош ее не ставит. Не-е-ет, с Павой, Мотиной женой, не сравнить: та – степенная, солидная, а уж хозяйка! И пироги, и в огороде не разгибается, и троих уже родила, а главное, мужа твердой рукой держит: Мотяшка-то не курит, не пьет, разве что на праздник, а дом построил – загляденье!

Старик видел, как лицо жены то мрачнеет, то разглаживается, но о чем она думает, не знал, потому что сам думал только о сыне. Ах, Андря, Андря... и на кой все это веселье,

когда собственная свадьба парню не в радость?! Жена повторяла: стерпится – слюбится. Но настойчивое это «на кой», несмотря на несколько выпитых рюмок, вертелось в голове, как маринованный гриб под вилкой: он-то знал, что должно быть только наоборот: слюбится – стерпится, а все остальное – от лукавого.

В его смятенные думы ворвался какой-то сложный разговор между зятями, и старик невольно прислушался, хотя понял немного. Федя все говорил, что время теперь хорошее. Коля чуть усмехнулся и спросил:

– Для кого?

– А для всех! Памятник видел? Ведь свобода!

– Кому ж при жизни памятник ставят, – усмехнулся старший. – Раз памятник, пиши пропала твоя свобода. Да и какая свобода при диктатуре?

Дальше пошло совсем непонятно, и старик налил новую рюмку. Вставая и вынимая портсигар (из-за икон курили на лестнице), Федя поучительно сказал, что диктатура диктатуре *люпус эст*, и спорщики вышли в коридор.

Время и впрямь было хорошее. Дети жили своими семьями, и пока старуха купала, брызгала от сглазу святой водой и закручивала младшего внука в беспощадный свивальник, чтоб эта лайдачка знала, как надо, Симочка привел в дом жену. Не спросивши благословения!.. Отец как раз поднялся из мастерской обедать; разгоряченная мамынька, с закатанными по локоть рукавами, вынимала противень из духовки, а Настя стояла, прижавшись к мундиру жениха, красивая, как Вера Холодная, и вписывалась в эту картину примерно так же, как вписалась бы та. Невозможно было представить себе, что эта синематографическая дива будет рожать детей; да она и не собиралась. Естественно, что такая невестка потрафить мамыньке не могла, однако старуха тайком любовалась Настей, гордясь выбором любимца, и даже на невесткину бесполезность смотрела сквозь пальцы.

4

Это ж только подумать – через год сорок лет будет, как венчались! Так-то уж пышно праздновать навряд ли будут (старуха невольно покосилась на шкаф, где висело панбархатное платье с серебряной свадьбы), но семья соберется, все семнадцать, да кто из родни, да сами... это сколько ж выходит-то? В таких приятных подсчетах старуха начала жить новый день, и не хотелось даже придирается к этому дню – таким он был славным и добротным.

Неделя да другая, которые потянутся за ним, Бог даст, не хуже будут, уютно додумывает она, деловито, но не теряя величавости, выбирая на базаре все необходимое для обеда. В корзине уже свежая зелень, кусок молодой баранины и нарубленные воловьих хвосты для бульона, чуть сочащиеся нежной розовой сукровицей, но мамынька требовательно указывает железным крюком на дебилую курицу и получает ее, чтобы властно, с акушерской ловкостью, развести бессловесной птице ноги и понюхать, а как же без этого. Хозяйка курицы старуху знает давно и уважительно наблюдает, как та выполняет все пункты неписаного покупательского кодекса, после чего четвертую по счету курицу, которой посчастливилось пройти этот страшный суд, велено завернуть, и корзина становится тяжелее. Пока мамынька, перейдя в молочные ряды, строго минует одну крестьянку за другой, окидывая нарочито равнодушным орлиным взглядом сочные глыбы творога, непроницаемые бидоны со сметаной, масло, похожее на густой мед, игнорируя призывы вкушать, дабы убедиться... а дальше не слышно, она уже далеко, уже пробует мед, подобный подтаявшему маслу, но нет, недовольна; пока она ищет совершенства в этом мире, текущем молоком и медом, старик думает синхронно с нею, как это уже не раз бывало за сорок минус один лет. Его долото осторожно продвигается по раме будущего трюмо, деликатно, но уверенно взрезая плоть когда-то живого клена, чтобы через неделю-другую, отражая в зеркале чужую жизнь, этот кусок дерева мог вспоминать свою кленовую юность и зрелость, птичий переполох, взгляд сверху на оседающие пламенные листья, и этих воспоминаний хватит на весь его мебельный век, ибо разве не кленовый лист выходит барельефом из-под резца? Старик думает, что все дети, слава Богу, благополучны: суп у всех густ, а жемчуг, если у кого и мелок, так ведь – жемчуг. Стало быть, прав зубной доктор: хорошее время, что и Бога гневить.

В воскресенье после заутрени собрались за столом. Мамынька не хлопотала – для этого есть дочери и невестки, – а только дирижировала, чтобы трапеза шла плавно и не прерывалась. Андрюша с Симочкой явились с опозданием, и оба почему-то в форме, несмотря на воскресный день. Мамынька не успела решить, на какую высоту поднять все еще черные брови, как Андря, глядя на старика, произнес:

– Война, папаша.

Тот самый день, который был таким славным и удачным для старика и старухи, оказался черным днем для Польши, хотя светило одно и то же сентябрьское солнце, отражаясь в одном и том же синем море. Началась война, но не почернело синее море и не вздулись сердитые волны, а ведь Польша – вот она, совсем рядом.

Брови все-таки поднялись: «Так то Польша? Где Польша и где мы», когда старик вдруг сгреб в горсть скатерть так, что нож звякнул о тарелку, и стукнул кулаком по столу: «Не смеешь! Я польской крови!!», и так неожиданно зазвенел этот крик, что все замерли в изумлении. Сама-то фраза была мамыньке знакома: муж пускал ее в ход, когда она, бывало, слишком уж пиявила его после сдачи большого заказа и такого же кутежа в ознаменование. Никогда, однако, слова эти не выкрикивались с таким гневом. Старухе сделалось коломытно; так ведь не ругаться сейчас, баранина-то стынет быстро.

О чем в эти неопределенные недели думала старуха, то пробуя на базаре сливу для варенья, то развешивая накрахмаленные простыни на октябрьском ветру, а потом уверенно ведя

по этим простыням тяжелым чугунным утюгом, сказать трудно. Три этажами ниже, ведя рубанком по березовой заготовке, которой суждено было стать чьей-то столешницей, старик думал, если это можно считать мыслью: на кой?! На кой немцам (опять – немцам...) Польша? И сам себе отвечал, если это можно считать ответом: а на кой им тогда была Сербия?

Разговор с учеными зятями помог немного, а правду сказать, так и совсем не помог, только прибавил путаницы. Говорили, что порты закрыты, а тут – извольте радоваться! – в этих закрытых портах русские, только уже советские, конечно, военные корабли. На кой? Ждать немцев? Зятья помалкивали уклончиво, вынимали папироски, и потрясенный старик понял: не знают, даром что ученые.

А немцы не ждали – уезжали из города целыми семьями, распродавали имущество. Два заказчика прислали сообщить, чтобы мастер не трудился, так как в заказанном более не нуждаются. А материал закуплен!.. Аванс, впрочем, назад не вытребовали, но это было только справедливо. Засобирался и Фридрих.

А-ах, Мать Честная! Тот самый, что, дуя себе в воротник, торговал на зимнем базаре деревянными безделушками, тот, кого старик двадцать лет назад согрел в трактире и приветил у себя в мастерской, ну тот, который еще потом шкатулку Ирочке... Собирался Фридрих долго, хотя что там собирать-то? Сундучок смастерил на славу и, конечно, отделал крышку инкрустацией. Максимыч самолично насадил на сундук латунные уголки – точно как при въезде в квартиру, когда крепил на дверь, словно визитную карточку, табличку со своим именем. Странно было подумать, что Фридриха в мастерской больше не будет, и не из-за инкрустации, Господь с ней. Немец был для старика единственным «своим», кроме родных (а в лихую минуту и более своим, чем они), и связаны они были, хозяин и работник, тесными узами любви к своему мастерству и знанием его тайн. И как знать? Попади старик тогда на фронт (иными словами, не имей он зуба с пломбой), а потом в плен, ибо попасть он мог только в могилу или в плен, потому что не мог поднять руку на ближнего, хоть и немца, – может, и ему пришлось бы жить из милости немецких пыльщиков, бросающих ненужные обрезки дров, и ему пришлось бы продавать где-то на немецком базаре матрешек да щелкунчиков. А коли так, то – как знать? – может, и ему Бог послал бы благополучного Фридриха, прогуливающегося с тросточкой, а вовсе не дующего то в воротник, то на замерзшие пальцы. На вопрос, куда едет, Фридрих приостанавливал работу и отвечал односложно: «Фатерлянд». Так и подмывало спросить у немца, на кой его фатерлянду понадобилась Польша, но не спрашивал – догадывался, что ответа тот не знает. Старик видел, что немец не торопится, и со свойственной ему прямоотой уже хотел сказать: ты ж тут больше двадцати лет живешь, на кой ляд тебе фатерлянд этот, оставайся! Не сказал. Вспомнил далекий 14-й год, странный толчок где-то под ключицей и вдруг овладевшее им тогда чувство сиротства, от которого и бежали всей семьей в Ростов, свой фатерлянд.

Попрощались с немцем по-людски, как и познакомились: в трактире.

За верстак Фридриха перешел работать Мотя, и вначале было непривычно, а потом и это стало неважно, потому что республика, двадцать лет пробыв в этом качестве, вдруг потеряла независимость. Казалось бы, не привыкать – вон сколько лет входила в Российскую империю! Теперь вошла опять – вернее, *ввели* – в империю советскую. И этот опыт Остзейская земля имела раньше, с той лишь разницей, что теперь советская власть водворилась с неестественной скоропостижностью – и осталась.

И далее по тексту: старуха бунтует, на чем свет стоит мужа ругает, хоть муж тут явно ни при чем. Для старухи новая власть – хоть советская, хоть турецкая – означала появление новых денег, что она всегда переносила болезненно. В этот раз, однако, никто о новых деньгах не говорил, говорили о национализации; но ни старуха, ни старик не знали, что это означает. Вскоре начало проясняться: пропал куда-то хозяин дома, в котором они жили, и дом стал принадлежать государству. Для старухи, впрочем, это большого значения не имело: она так при-

выкла к этой просторной ветхой землянке из пяти комнат, что не задавалась вопросом, где теперь хозяин, да к тому же была приятно озабочена грядущей 40-й годовщиной их свадьбы. Годовщину отпраздновали, но не так, как это сделали бы прежде, в мирное время. Она поправила себя: время-то и сейчас мирное, только беспокойное, тревожное какое-то. Даже за юбилейным столом у всех на языке была эта национализация, чтоб ее. Поговаривали, что мастерскую тоже национализируют, но остались ведь жить они в национализированном доме? По-прежнему звонили у крыльца заказчики, вот только с материалом стало труднее, но старика выручали старые связи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.